



## «Амбигю комик»

Я никогда не жила внутри Садового кольца.

Конечно же, мечтала об этом, но тайком и в детстве — когда ходила в музыкальную школу имени В. И. Мурадели на Пречистенке. Фантазировала, что когда-нибудь перееду в Чистый переулок, в просторную квартиру с полукруглым балконом, откуда можно закинуть усыпанный маком бублик на шпиль высотки МИДа. А чуть позднее, в классе одиннадцатом, вычислив, что Шамаханская царица из рассказа Бунина жила в доме на углу Сойморовского проезда и Остоженки, решила, что непременно обзаведусь апартаментами в этом здании и оформлю купленным на барахолке старьем. Но что-то мне уже тогда подсказывало, что мечтать жить в центре намного приятнее, чем там жить. Вечные пробки, выхлопы вместо кислорода и полное отсутствие продуктовых магазинов — буханку ржаного не сыскать. Оно мне надо?

А еще я никогда не любила до конца, так, чтобы кричать до разрыва аорты, и даже не слышала подобных воплей, разве что в кино. И не помню, когда я последний раз ходила за хлебом. Зато точно знаю, когда — за кофе.

Это случилось в самом центре.

Я разлепила глаза неприлично рано для субботы — в начале восьмого.

И проснулась я в писательском доме в Лаврушинском переулке, что построен по личному указу Сталина и «высится как каланча» в одном из стихотворений Пастернака. Тут пора сознаться: этот центр оказался не душным, трамваи не маршировали, окна выходили

на Третьяковскую галерею и небольшой скверик с кленами, ясенями и благозвучным фонтаном.

В этом доме и в этом центре я — гость. И потому, накинув на пижаму длинный вязаный кардиган, я отправилась в ближайшую кофейню завтракать, чтобы никого не будить. Так, даже не почистив зубы и не расчесав волосы, я спустилась в свою камерную осень.

Облака были связаны из пушистой пряжи, солнце карабкалось на вершину одного из них, но явно еще до конца не проснулось. Ветер, как котенок, играл с жухлой листвой, перекачивая ее от одного бордюра к другому.

В такую осень хочется укутаться, как в шарф из мягкой ангоры.

Все, кто хоть раз оказывался в центре ранним субботним утром, знают, как это возвеличивает — сесть на лавку и в полной мере насладиться журчащей тишиной, нетронутой городом.

Однако мои планы были обречены на провал. Уже заметив лавку почище, я направилась в ее сторону, как вдруг меня дернули за рукав:

— Простите, пожалуйста! Тут съемки! Не видите — сквер перекрываем для пешеходов? — киношная одалиска, прислуживавшая съёмочной группе, как наложница в гареме, четко защищала свою территорию и даже сунула мне в лицо рулон ленты для ограждения.

— Да что вы меня с панталыку сбиваете? Нет же ни камеры, ни актеров! Так что дайте кофе выпить! — я пыталась следовать намеченному курсу и уж точно не собиралась сдаваться под натиском одалиски.

— Ну послушайте, неужели вам так сложно пойти в соседний двор или сесть на веранде ресторана через дорогу? — тут она решила примерить на себя ампулу чинодрала, чтобы вытолкать меня из сквера.

— Если это так несложно, сами там и снимайте. И пока не покажете мне разрешение на съемки от города или же не явитесь с отрядом полиции, я продолжу завтракать! — терпеть уничижительное отношение я не намеревалась и готова была вести себя как фюрер, отвоевывая право на завтрак.

Одалиска чуть отстранилась от меня и решила разыграть королевский гамбит. А именно — обратиться к главному на съемочной площадке.

— Алек! У нас тут проблемы! Какая-то городская сумасшедшая оккупировала нашу лавку и отказывается покидать площадку! — изрыгала она гневную хулу в рацию.

Я же пригубила американо со сливками и надкусила круассан, приправленный миндалем в надежде наконец заморить червячка. Это одалиска гнет хребет и трудится на благо искусства, а я уже отработала и имею право на эпикурейство. Однако мою негу как рукой сняло, когда я разобрала в гневной хуле определение «дамочка с интеллектом хлореллы». Так меня еще никто не называл. Надо запомнить. Я уже было достала из кармана телефон, чтобы записать сие определение, как вдруг голос из радики заставил меня совершить квантовый скачок — сквозь пространство и время.

— А что эта хлорелла говорит? — из радики в мое утро проникал фантом прошлого. Или мне послышалось? В этот момент я думала задать стрекача, лишь бы не знать: он это был или нет. К чему эта однозначность, тем более с утра пораньше?

— Требуется полиция и разрешение от города. Иначе с места не сдвинется, — одалиска дрожала как цуцик и периодически заикалась. Видимо, понадеялась, что просидит в вагончике вместе с костюмерами, а тут в одной футболке отправили расчищать местность.

— Только не ругайся с ней! Я обещал Прокофьеву, что никаких проблем с местными жителями не будет. Сейчас подойду с разрешением. Иди пока разберись, чтобы гримвагену дали проехать по пешеходной улице, — донесли из рации.

Нет, мне не послышалось, это действительно был голос Алека Романовича.

Любви, о которой я, кажется, не мечтала.

И любви, которая так со мной и не сбылась.

— Ладно, — будто выплонула одалиска в рацию, расстроенная, что руганью ей взбодриться этим утром не удастся. — Сейчас принесут вам разрешение от города. Довольны?

Последнее, что мне нужно было в этот момент, — разрешение от города. Расческа, зубная щетка, шапка-невидимка, портал в другие миры, мексиканский душ и что-нибудь вместо пижамы и старого застиранного кардигана. Но никак не разрешение. От города, блин.

Я подорвалась с места, лелея надежду, что мне удастся ретироваться до прихода Романовича. Недоеденный круассан бросила на островок газона — пусть хоть голуби позавтракают. Зубами зажала кошелек, а руками схватила ключи от гостевого дома и картонную упаковку с двумя стаканами кофе. Однако стоило мне выгнуться в стойке, наметить направление движения наутек, как передо мной проявился он. Как на негативе — когда на однородном серо-черном месиве при проявке вдруг вырисовываются лица с цветами вверх тормашками — где черное есть белое, и наоборот.

Так и в моем утре — все встало с ног на голову.

Сажень в плечах, гренадерская стать, сухопарый, все такой же кучерявый. Все так же улыбается, чуть приподнимая один из уголков губ: ехидно, но с добротой. Хотелось взять парабеллум и выстрелить себе в непричесанную голову.

— Маша? — удивленно и радостно выступил Алек зачинщиком диалога.

Я попыталась ему ответить, но так крепко вцепилась в кошелек зубами, что удалось лишь кивнуть. Романович в некоторых вопросах был прозорлив, поэтому тут же поспешил освободить меня от «кляпа». Выглядела я как жалкий оборвыш, и лишь шелковые полы пижамы и наличие кошелька выделяли меня из касты шантрапы и голодранцев, из-за которых люди и остерегаются селиться в самом центре.

— Ты прекрасный пример того, как деньгами можно заткнуть рот любому человеку! — он улыбнулся следам, оставленным зубами на мягкой коже кошелька.

— Если честно, более неловкой встречи нельзя было и предположить, — я ссутулилась и зарделась.

— Даже боюсь спрашивать, что ты тут делаешь, — поддержал тональность смущения Романович.

— В одном можешь быть уверен: я тебя не выслеживаю. Иначе бы причесалась.

По ковру тротуаров замельтешили первые собачники, по периметру сквера дворники на пару с метлами танцевали котильон. И мы с Алеком — снова в едином пространственно-временном срезе. И сердце просит не то объятий, не то корвалола.

— Да я сам тут внезапно оказался. Продюсер из нашего продакшна корью от ребенка заразился, вот я его и подменяю. Даже особо не в курсе, что снимать будем.

— А тут какая-то хлорелла тебе съемочный процесс портит, да? — вернула я ему рикошетом порцию неловкости.

— Уволю ее к чертям, — Романович покосился на одалиску, которая застыла в ожидании явно другого катарсиса. — Ты завтракала уже?

— Пыталась, но пришлось отдать круассан голубям.  
— Я кивнула головой в сторону их своры за трапезой.  
— Не хотела в таком виде тебе на глаза показываться и, услышав по рации твой голос, думала ретироваться, но не успела, — развела я руками.

Вот такой «амбигю комик».

— Может, исправим как-то ситуацию и позавтракаем?

— Алек, я в пижаме! Куда мы пойдем завтракать? В соседний психоневрологический диспансер разве что. Но вряд ли нам перепадет там что-то, кроме жиденькой геркулесовой каши на воде.

— Туда нам рано. Пошли лучше в гримваген! Его уже должны были подогнать. У меня в машине, кстати, лежат термос с пуэром и упаковка овсяного печенья. А еще в гримвагене есть расческа. — Он потрепал меня по волосам, и волна мурашек прокатилась от затылка по позвоночнику до муладхары.

— Только ради расчески! — ретивое сердце нашло компромисс с мозгом, и на светофоре действий зажегся «зеленый».

Гримваген представлял собой фургон, внутри которого располагались рейлы с костюмами в одинаковых чехлах, два трюмо, раковина для мытья волос и небольшая лежанка для особо изможденных. Окна были зашторены, и освещалось помещение исключительно подсветкой зеркал.

— А мы никому тут не мешаем? — из деликатности полюбопытствовала я, уже забираясь с ногами на лежанку.

— Ну, поскольку до десяти утра шуметь нельзя, раньше девяти ассистенты по гриму, как и актеры, не появляются. Так что у нас с тобой есть почти час.

Мы цедили тишину. Молчание покусывало. Щипало на кончике языка — когда вроде хочется уже перейти от шуток к личному общению, но не решаешься. Поэтому

мы не нашли ничего лучше, как притаиться за поеданием печенья, что вполне уместно объясняло нашу игру в молчанку.

— Как твоя жизнь? Что значительного случилось за то время, что мы не виделись? — решил нарушить тишину Алек.

— Я выбросила кофеварку,новила всю музыку. И купила четыре новых комплекта белья. Из важного и значимого, кажется, все. — Это было правдой. С тех пор как за Алемом закрылась дверь, ничто не приобрело большей значимости, чем он.

— Искореняла все прямые ассоциации с моей персоне? — не знаю, задело ли его сказанное.

— Вроде того. А ты? Что делал, чтобы меня не вспоминать?

— Ничего не делал. И кофеварок точно не выбрасывал... — он замялся, кажется, уже пожалев, что затащил меня в этот гримваген. Но отчего-то не сдрейфил и эмоционального погружения не испугался, а присел рядом и положил мою растрепанную голову себе на плечо. — Хочешь честно? Однажды я ехал домой, и захотелось пива. Такого вот настоящего, нефильтрованного, разливного, с густой пеной — что, если сверху положишь монетку, она не потонет. Зашел в брассерию, чтобы взять с собой пинту-другую. Стою у бара, поворачиваю голову, а там ты в соседнем зале. Чуть не разлила на себя бокал вина, когда тебя рассмешили. Сидела нога на ногу, в бордовом платье, с убранными волосами и так смеялась, что мне даже пива расхотелось. — Алек сделал смысловую паузу и для ее оправдания зевнул: — Я толком не понял, что именно произошло тогда: одной части меня стало невероятно легко, я перестал терзать себя за то, что с такой легкостью отпустил, а другая часть не могла простить меня же

самого, что ты смеешься не со мной, не из-за меня и даже не надо мной.

— Почему ты не подошел? — выдавила я вопрос, как остатки зубной пасты из сплюснутого тюбика.

— Не рассматривал такой опции. Просто поднялся и ушел. Потом еще долго бродил по улицам, лакал купленную в ларьке сивуху и пытался понять, как люди отпускают людей и чем потом себя утешают.

Его «однажды» и та оказия с бокалом вина случились несколько месяцев назад.

И да, я смеялась. Впервые за два года я смеялась открыто, искренне, и не щемило меж ребер. До этого я пыталась забыть Алека. И тогда, тем вечером, начала забывать. Это были первые три часа, за которые я ни разу не вспомнила о нем, ни одна из ассоциаций глубинным импульсом не уколола мою нервную систему.

— Ты видел, с кем я там была? — я сделала вид, что пытаюсь вспомнить, в какой именно вечер я попала в поле его зрения. Как будто я каждый день выпугливаю бордовые платья и залиvisto смеюсь.

— Не видел. И не хотел видеть, — Романович тяжело выдохнул и протянул мне последний кругляш овсяного печенья. Я помотала головой, и он отправил его себе в рот.

Не знаю, что именно: разлапистая и уютная осень, сусальные речи Алека или столь ранний подъем — но что-то из этого возымело действие, и меня коротнуло. Мозг был обесточен.

И я поцеловала его. Меня не остановили ни нечищенные зубы, ни то, что в этот момент он жевал печенье. Видимо, инстинкт самосохранения еще не проснулся. И даже когда он раскашлялся, я не отпрянула, а просто протянула ему термос с чаем, дождалась, пока он сделает пару глотков, и совершила повторную попытку. Алек

так сильно прижал меня к себе, что незакрытый термос выплюнул мне за шиворот добрый стакан чая.

— Снимай скорее, а то обожжешься! — скомандовал Алек и, не дождавшись моего повиновения, сам скинул с меня и кардиган, и шелковый верх от пижамы.

— Теперь мне холодно!

Романович снял с себя джемпер, но, вместо того чтобы предложить мне его накинуть, прислонился ко мне животом и грудью и руками растирал спину.

— Так люди греются в экстремальных ситуациях. Меня на курсах МЧС учили. Перед киноэкспедицией на Алтай инструктировали.

— А этому учили? — с третьего дубля мы наконец поцеловались без эксцессов.

Соскользнув от губ к шее, я вспомнила, как Романович пахнет. Иногда мне кажется, что молекулярная структура запаха человека проникает сквозь нос в лимбическую систему мозга и формирует там прочные (и иногда порочные) связи. Или же в прошлой жизни я была бродячей собакой, любившей обнюхивать каждого встречного. Когда Романович ушел, я два-три месяца не стирала наволочку его подушки. Спала на своей, а в его утыкалась носом. А когда наконец хватило мужества положить ее в стиральную машину, уселась на пол и долго смотрела, как она барахтается внутри барабана.

У Романовича всегда теплые руки, даже в мороз.

Эти руки гребнем прочесывали мои волосы, царапали спину. Он вырисовывал кончиками пальцев витиеватые линии на моих изгибах и не торопился.

Я часто прокручивала в голове возможность этого случайного секса: кадры молниеносной похоти, разорванных юбок, порванных чулок и даже общественных туалетов — но никак не нежность, растянутую на час.

Да, мы привычно покусывали друг друга, я даже переборщила с этим и потом слизывала языком кровь с растрескавшейся губы. Алек сжимал запястья, скрепя моя руки над головой. И иногда не давал шелохнуться. Но все это было в замедленной съемке и рассветной дымке. Или же я столько раз ставила то утро на обратную перемотку и пересматривала, что пленка кассеты затерлась и давала искаженную версию — кто его теперь разберет?

— Как твои подруги? — поинтересовался Романович, натягивая джинсы.

— Не знаю. Нормально, наверное. А почему ты спрашиваешь? Мне казалось, ты никогда их не любил.

— Недавно разбирал почту и нашел ксерокопии ваших паспортов. Помнишь, как вы никого не послушались, полетели с Настей в Рим в начале августа и слегли с тепловым ударом после первого же променада, а я купал вам билеты, чтобы оттуда эвакуировать?

— Как же такое забудешь. Не поверишь, я как раз искала ксерокопию Настинного паспорта, чтобы выволить ее из Дубая. Ты же помнишь нашу традицию?

— Каждый год первого сентября вы собирались на веранде одной и той же кофейни и отмечали годовщину вашей дружбы! И перемывали мне кости.

— Два года назад, когда мы расстались с тобой, я выключила телефон на несколько месяцев и впервые не пришла на нашу встречу. А больше никто и не пытался ее организовать.

— Хочешь исправить положение дел?

— Теперь я просто обязана, после нашего с тобой на этот раз действительно случайного секса! — услышав это, Романович расхохотался и даже присел на корточки.

— А помнишь, что мы больше всего на свете любили делать после секса? — ухмыльнулся он.

Тут и я проглотила смешинку и на неровном выдохе, давясь от смеха, произнесла:

— Чебуре-е-еки-и-и!

На этой ностальгической ноте мы покинули пределы фургончика, ставшего для нас цитаделью воспоминаний, и, на секунду обнявшись, разошлись — каждый в свою сторону.

Мы с Алеком имели одну постыдную традицию: посреди ночи, покончив с потным и плотским, наспех накидывали куртки и отправлялись за чебуреками. Прямо напротив моего дома стоял хиленький прицеп, где можно было в ночи затариться холодным пивом и чебуреками с мясом и почему-то с сыром. Это сейчас мы едим чебуреки как подобает: именуем их гош-нан и запиваем сладким чаем из низких пиал. А тогда доставали их из полиэтиленовых пакетов, хватали грязными и липкими от масла руками, пачкались, смеялись. Те, что с сыром, однажды даже донесли до дома и съобрили майонезом. А потом вливали в себя прохладный солод из запотевших бутылок и ложились спать, Сытые и умиротворенные.

Обо всем этом я думала (или правильнее сказать, этим бредила), пока пыталась настроить мысли на камертон.

Возле подъезда я занесла руку выбросить уже остывший кофе, но передумала и в итоге, не обнаружив поблизости ни лавки, ни доступного бордюра, присела на урну покурить, стрельнув у прохожих сигарету.

Прошлое и чувство вины наперебой хлестали меня по щекам будто пьяного повесу, чтобы тот пришел в чувство.

Пьяный повеса давно очнулся бы.

Я же — нет.

Все шесть пролетов лестницы, которые я шла пешком, чтобы выветрить из себя Романовича, я разрешила себе улыбаться, поставив на паузу чувство вины. Открыв

дверь квартиры, осторожно сняла лоферы, скинула облитый чаем кардиган и босиком прокралась в спальню, поставив на тумбочку картонную форму с кофе, как будто уже давно принесла.

Я распахнула окно в спальне и уселась на подоконнике, разглядывая, как в сквере разворачивается театральное действо: шаблонная пара, по сюжету, выбегала из ресторана и угоняла припаркованный поодаль мотоцикл. От скрежета мотора слышалось копошение в кровати, и из подушек и одеял показалось сонное заспанное лицо.

— Влад, а ты любишь чебуреки?

— Нет, по утрам я предпочитаю нечто более тривиальное. — Влад пригубил холодный кофе, поморщился и затащил меня обратно в кровать. Досыпать.

Здесь стоит набить примечание нонпарелью: я часто убеждаю себя, что хожу за кофе, чтобы не будить, не греметь, не пачкать посуду, а на деле — просто до сих пор помню наше последнее утро с Романовичем.

Алек паковал вещи и попросил сделать ему кофе. Я стояла возле кофеварки обездвиженная. И несколько минут не решалась нажать на кнопку.

Большинство историй начинается с вопроса «Выпьем кофе?». И потом вы пьете джин, шампанское, чай, друг друга, и это все неважно. Потому что кофе — это приманка, опарыш на удочке. Мы ловим друг друга на кофе. А я еще и отпускала на волю... последней чашкой кофе, которая, невыпитая и нетронутая, неделю стояла на кухонном столе, пока я не собралась с мужеством и не вынесла ее вместе с кофеваркой на помойку.

Следующий год я пила исключительно чай. И на кофе не отзывалась.

## Флешбэк

Прошлое оставляет метки и зарубки. Как турист в дремучей тайге.

Не успела я отойти от встречи с Романовичем, как на меня свалился еще один обломок прошлого. По рабочей почте ко мне обращалась некая Алиса Величенко, интересовалась, остался ли у меня на руках рукописный дневник известной художницы Киры Макеевой, за который предлагала внушительную сумму. Казалось, как в комиксах, меня дернули за лямки штанов, и я отлетела на пять лет назад. Перед глазами воскресали давно забытые события.

Тогда факультативно мы с подругой Линдой посещали занятия интуитивной живописью, которые устраивала Кира в своей квартире-студии в Староконюшенном переулке, и крайне ей импонировали. Не квартире — художнице.

Кира, как яростный адепт теории Антонио Менегетти и поклонница онтоарта, веровала, что каждый человек талантлив по природе и способен нащупать в себе клапан, через который будет проводить великое божественное творчество. К азам она относила не карандашную ретушь яйца и умение правильно штриховать тени, а именно свободу в выражении себя. Это когда отключаешь левополушарное мышление и начинаешь брызгать красками на чистый холст, энергетически ощущаешь неутолимую жажду, как пронзает поток, а в ладонях становится тепло — то самое состояние «ин-се», которое проповедовал Антонио. Киру интересовала

эвристика — наука, изучающая физиологическую природу творчества, но с нейрофизиологами она соглашалась неохотно.

Как и все женщины не от мира сего, Кира являла собой болезненную квинтэссенцию таланта, боли, красоты и ярости. Всегда без косметики, она собирала свои тяжелые прямые темные волосы в конский хвост и под его тяжестью обретала грациозность и стать, приподнимая подбородок и глядя на все чуточку свысока. Ее осанка, длинные цветастые платья в стиле богемного шика, аккуратные изящные пальцы, перемазанные краской, гремящие африканские браслеты на запястьях — все это делало Киру Эвтерпой и Каллиопой в одном лице. Мы слушали истории о ее любовных многоугольниках раскрыв рты и втайне мечтали быть чуточку на нее похожими. Брали у нее книги и фильмы. Она открыла для нас Питера Гринуэя, Джузеппе Торнаторе и Вима Вендерса. От нее мы узнали о Кастанеде, Хакуине Экаку и Джалале Руми. О духах Etro с терпкой ванилью и ладаном. О японском чае гэммайтя, обжаренные листья которого заваривались вместе с подсушенным рисом у нее на кухне. И там же впервые попробовали пасту с икрой боттарги — как-то шел проливной дождь, и Кира отказалась выпускать нас на randevу со стихией.

А потом она покончила с собой.

Линда приехала забрать наши картины и долго бродила по квартире в Староконюшенном, пытаюсь понять, как и почему можно решиться покинуть этот храм искусства и творчества, вырваться из тела, о котором все мечтали. Негодовала, куда же делась ее наполненность, пусть и с израненностью наперевес. А потом Линда сама не поняла, как, наткнувшись на ее